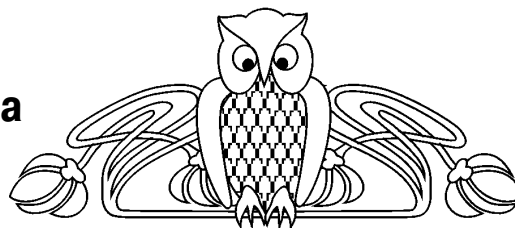




УДК 821.161.1.09-3+929[Шергин+Дурылин]

## Одухотворение повседневности: быт и бытие в дневниках Б. Шергина и мемуарной прозе С. Дурылина



С. В. Кекова, Р. Р. Измайлов

Кекова Светлана Васильевна, доктор филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин, Саратовская государственная консерватория имени Л. В. Собинова, kekova@yandex.ru

Измайлов Руслан Равилович, кандидат филологических наук, заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин, Саратовская государственная консерватория имени Л. В. Собинова, ruslanizmajloff@yandex.ru

В статье рассматривается духовный опыт восприятия повседневной жизни, отражённый и запечатлённый в дневниках и мемуарной прозе русских писателей Бориса Шергина и Сергея Дурылина. Христианское мироощущение и мировосприятие наделяет писателей особым органом зрения, благодаря которому преобразуется бытовая ткань жизни, становясь подлинным бытием, укоренённым в вечности и Боге.

**Ключевые слова:** Б. Шергин, С. Дурылин, одухотворение повседневности, быт и бытие, дневники, мемуарная проза.

**The Spiritualization of Everyday Life: Way of Life and Existence in the Diaries of B. Shergin and Memoir Prose of S. Durylin**

S. V. Kekova, R. R. Izmailov

Svetlana V. Kekova, <https://orcid.org/0000-0002-7332-5856>, Saratov State Conservatoire, 1 Kirova Ave., Saratov 410012, Russia, kekova@yandex.ru

Ruslan R. Izmailov, <https://orcid.org/0000-0003-3767-8942>, Saratov State Conservatoire, 1 Kirova Ave., Saratov 410012, Russia, ruslanizmajloff@yandex.ru

The article considers the spiritual experience of everyday life perception reflected and imprinted in the diaries and memoirs of the Russian writers Boris Shergin and Sergey Durylin. A Christian outlook and perception of the world endows the writers with a special organ of vision, which transforms the fabric of everyday life, making it a true being, rooted in eternity and in God.

**Keywords:** B. Shergin, S. Durylin, spiritualization of everyday life, life and existence, diaries, memoirs and prose.

DOI: <https://doi.org/10.18500/1817-7115-2019-19-1-73-77>

В одной из дневниковых записей 1944 г. хранитель и мастер русского слова Борис Шергин описывает удивительное состояние своей души: «Со мною не раз бывало такое: в городе ли, в старом проулке, в деревне застигнет тебя, обнимет некое сочетание света и теней, неба и камня, дождя и утра, перекрёстка и тумана... и вдруг раскроются в тебе какие-то таинovidящие

глаза»<sup>1</sup>. И далее: «В такие минуты ум становится широким и ясным, мысль дальновидной... Потом опять тянулись дни и месяцы обычного жителя-бытия... И я отчётливо понимал, что многолетнее моё жительство-бытие проходит как бы в комнате без окон. И я не сознаю этого. Может, и окна есть, но мне они ни к чему, вроде украшения. И вот окно отворилась-распахнулось, и я узнаю, что есть иной мир, иное сознание, иное бытие – настоящее» (98). Это со- и противопоставление «жизня-бытия», («будней житейских», «проклятой житухи») и «настоящего» бытия пронизывает дневниковые записи Б. Шергина. Можно сказать, что два этих понятия организуют тот «образ мира, в слове явленный», который предстаёт перед читателем в исповедальных строках удивительного памятника русской духовной словесности XX в.

Детские годы, как они предстают перед нами в дневниках писателя, поражают слитностью быта и бытия, повседневность одухотворена и преобразована. «Мне часто доводилось видеть, как северные мужики вырезали из узлов карельской берёзы, из обручков рябины солоницы и братины в виде птиц, делали изящные чашки и красиво выгнутые ложки. Стол, уставленный такой утварью, казался мне особо праздничным. Стол, накрытый синей выбойчатой скатертью, с вереницей таких судков, чашек, солоник, удивительно напоминал море с кораблями, у которых “нос-корма по-звериному, бока взведены по-туриному”» (598). Мир вещей, окружающих ребёнка, обычных на первый взгляд, представлен на страницах дневников как мир таинственный и волшебный: простые камешки, привезённые отцом из Соловецка, морские раковины, ложки с рыбой на рукояти, козули – пряничные олени, лубочные картинки – всё освещено каким-то особым светом: «А какой захватывающий интерес был для меня в... привезённых из Соловецка гостинцах. Всё необыкновенным казалось... Камешки оттуда привезут... Годы лежит камешек, и всегда от него аромат моря. Ещё привезут цветистых соловецких раковин. А потом хлеб соловецкий, ржаной... А как любили мы эмалевые образа, писанные на кипарисе иконы. И стопу таких нарядных, столь праздничных картин с видами монастыря, с изображениями святых. И ещё ложки с рыбой на рукояти, или с благословляющей рукой. Затем чудесная посуда соловецкая глиняная, и всюду изображена чайка – герб соловецкий» (94).

Можно сказать, что словесная ткань дневниковых записей Шергина приоткрывает нам некую тайну сокровенной жизни самых обыденных



вещей и прикровенный смысл повседневности. В дневниковой записи от 13 октября 1943 г. Шергин пишет: «...неведомое нам нечто есть во всём... У всего, что мы видим..., есть два лица. У всего, на что смотрят телесные наши гляделки, есть оборотная сторона. Вот, бывают минуты, наитие какое-то на меня, и я как бы готов ухватить, понять, узнать нечто страшно важное, какую-то неизвестную тайну... Вот... как бы какая-то пелена готова упасть с глаз, и важнейшая подоплёка существования нашего будет открыта» (116). В воспоминаниях о детстве эта тайна открывается нам как переживание праздничности жизни, как пронизанность быта истинным бытием. «Упоительное чувство сказочности» (слова Б. Шергина) охватывает читателя, когда он прикасается к картинам жизни русского Севера. «Откуда, отчего рождалось ощущение счастья, когда согладал я северную избу-горницу? Что созерцал глазами, что осязал руками, ногами, спиной? Восхищали мощь, изящество, строгость и цельность стиля. Мощные, коричневого цвета бревенчатые стены, могучие косяки и порог тяжкой двери с кованой скобкой, широкие скоблённые лавки, широкие синие осиновые половицы. Никаких украшений, ни окраски, но какая нежность тонов, какое удивительное чувство пропорций было у людей, создавших это жильё» (601).

Дивные страницы посвящены воспоминаниям о праздновании Рождества Христова в отчем доме. «И я почему-то в первых вижу: утро, в окно светло глядит зимний белый день... Я, маленький, пробуждаюсь, и мама поёт – “Прикатилось Рождество”... Жизнь на Кировной в старом доме, о сколь мило, сколь сладко, сколь всежеланно вспоминается... Нет, не вспоминается, а живая, явная предстаёт умному взору, и снова я там живу: слышу запахи все, руками беру, хожу там, чувствую чувствами тех лет... Морозные синие дни... Сад возле дома закуржавел и заледенел, что в кружевах... Вот и ёлку привезут. В Сочельник в зало поставят. Она густая, до потолка. Всё заполнит благоухание хвои. В маленьких горенках наших всё блестит – полы, мебель, ризы икон» (124). Привычный русский поморский быт, который живописует Шергин, основан на православной вере, на сиянии святости. В записи 1939 г. Шергин пишет: «И ещё почто люблю наших северных святых. Имена их с детства на октеньях слышал... По порядку из уст Михаила помню: Зосиму и Саватия Соловецких, Антония Сийского, Никодима Кожеозерского, Трифона Печенегского, Варлаама Важеского... А в Соловецком подворье с детства выучил на слух Зосиму, Саватия, Германа, Ирнарха, Елеазара Анзерского и прочих Соловецких чудотворцев» (57–58).

Предвоенное, военное и послевоенное время, время катастрофического слома русской жизни, на страницах дневников Шергина предстаёт в облики апокалиптического зверя, уничтожающего человека, его веру, его живую душу. Беспросвет-

ный и скудный быт никак не связан с бытием. Характерен с этой точки зрения образ города в дневниках. «Город лежит растлен, лежит пластью, в расстил, лежит втопан в грязь, смешан с прахом. Страшное многомогильное кладбище стал город... Лязг, скрип, визг, как унылый вой, стоят над городом, но в этом денно-нощном гуле Города – и вопль отчаянья, и рыданье безнадежности, и слёзы лютой скорби. И плач, и скрежет зубом, ад живо в бредовой этой лихорадке нового Вавилона» (85). Однако и здесь, в этом Вавилоне, есть некие «окна», через которые пробивается луч иного мира, истинного бытия. Во-первых, это природа: «Спешат куда-то человеки, лают машины: ведь день, ведь дела, ведь – Город! Но эта новая песнь Земли, эти глины... эти певучия уносящиеся в тихость неба веточки, вся эта тихогласная апрельская песнь без слов – эта всеблаженная музыка больше и слышнее улично-жилищных лязгов, визгов, хрястов» (195). И далее Шергин продолжает созерцать духовным оком городской скудный пейзаж, в котором проступают контуры иного мира: «В безлюдном углу бульвара обтаявшая, просыхающая земля. Серо-золотистая отава-трава прошлогодняя. Деревья прозрачными метёлочками, тоненькими, гибкими веточками тянутся к небу вечернему. Нечто празднично-прекрасное, некая сладкая грусть в этой тихости ранневесенней. Эту благодатную тихость не может одолеть будничность лязгающего инде трамвая, не могут нарушить повседневные подворотни, мимо коих ступаю обратно» (195). А вот в другом месте дневников художник открывает нам удивительный опыт «восхищения» из урбанистического «вавилонского пленения» в «райские обители» родного Беломорья: «Ехал на трамвае: Лубянка, Театральная... А над городом, за площадью, за домами дальними туманная заря... И вот вижу берег родимого моря. День, тишина безглагольная, разве чайка пролетит и жалобно прокричит, рыба плеснёт. Бледное северное небо. В беспредельных даях морских реют призрачные туманы. В тишине несказанной слышен ещё лёгкий плеск волн о камни... Серые камни, белые пески, раковины» (99).

В одной из записей 1949 г. пейзажная зарисовка предваряется следующим размышлением: «Катехизис, определяя, что такое вера, даёт Павлов привод: “Вера есть уповаемых извещение, вещей обличение невидимых”... Свойства истинного художника всецело можно определить этой формулой... Моё упование в красоте Руси. И, живя в этих “бедных селеньях”, посреди этой “скудной природы”, я сердечными глазами вижу и знаю здесь заветную мою красоту» (544–545). Тут уместно привести слова святого Сербской православной церкви преподобного Иустина (Поповича): «Христиане суть тем христиане, что во временном ищут вечное, в видимом – невидимое, в человеческом – Божие. Паломники вечности, они через временное шествуют вечным, через



человеческое – богочеловечным. Они непрестанно ищут божественное золото в земном болоте. И находят. Для них вещи прозрачны: через видимое они видят невидимое, через временное – вечное»<sup>2</sup>. Да, «суета сует и всяческая суета» повседневных забот затмевает плотной пеленой духовные очи сердца, и вспышки ночного электричества отвлекают человека от созерцания Света невечернего, о чём и свидетельствует Б. Шергин в дневниковой записи от 18 августа 1946 г.: «Мы затащались в буднях житейских, обросли корою и стали непричастны потокам радости, отгородились от райских рек, от сих дождей благодатных, которые, несмотря ни на что, нисходят на землю... Тайна светлая вокруг нас, но скрыта, замкнута она для нас, душ ослепших...» (416). Но слава Господня доступна для «алчущих и жаждущих правды» и «чистых сердцем»: «Осень серая. Туск на травах, серебряная долина. Чёрная, молчащая река. Торжественно, как в храме, когда совершается таинство и молчит всякая плоть человека. Тишина, подобная неизъяснимой музыке. День, и дивно это безлюдие и безмолвие. Только что трижды прозвучал вопль: оглашении, изыдите, и мир сей изгнан отсюда. Ни души на горах, обставших долину священной реки, ни по берегам её святым... Торжественно стало и преславно вокруг меня... Торжеством исполнилась долина, преславно ожила река. Всё стало настоящим. Уж не долнее, топтаное, будничное, а преображённое, истинное всё вокруг меня. Никакая широководная река не грозна, не всепета таково, как и сейчас стала Пажа... Нельзя остановиться мне и оглядеться, но знаю, что в час славы сего места прохожу. Не надо и глаз, тут ум видит, и славнее... А надобно, чтобы хоть временно приотворялись сердечные очи. (А главное, надо стяжать их, не терять их...)» (115–116). Здесь не просто ощущение, что всё живо, не просто «космическое чувство», а созерцание «космической литургии», о которой свидетельствуют 148 и 150 псалмы. «Час славы» творения есть час свидетельства о славе Господней, час теофании.

Человек начинает понимать язык творения. Это тот самый язык, который св. Нектарий Эгинский (1846–1920) дал возможность услышать своим послушникам. «Однажды мы попросили нашего отца... сказать нам, как создания, лишённые разума и голоса, такие как солнце, луна, звезды, свет, вода, огонь, море, горы, деревья и, наконец, все те создания, которые для хвалы Богу призвал псалмопевец, – как они могут говорить? Святой ничего не ответил. Спусти несколько дней, когда шла вечерняя беседа под сосной, он сказал нам: “Несколько дней назад вы попросили меня объяснить вам, как творения хвалят Бога. Ну так вот, послушайте”. Тогда он ввел послушников в преображенный мир, где они отчетливо слышали, как каждое создание на свой лад поет хвалу Господу и Творцу»<sup>3</sup>. Об этом чуде созерцания славы Божией в мире мы и читаем в дневниках Шергина:

«Бесславный, отпавший от Божией славы мир забыл уже <...>, что небо, и земля, видимое же всё и невидимое единую сладчайшую симфонию составляют, единый дивный хор... Всё прекрасно в Божьем мире, потому что Сотворивый мир в нём скрыт. Бог во всём. Во всём Троица Живоначальная. Манием Триипостасного Божества движутся непостижимые громады звёздных, необъятных в величии, недомыслимых в числе и расстояниях миров. Троица Живоначальная движет и соки дерев от корня к вершине, силою Троицы Животворящей цветёт роза, благоухает фиалка. Всё в славе Отца и Сына и Святого Духа. Всё поёт славу Троице Живоначальной» (90). Но чтобы видеть эту славу Божью, нужны особые глаза, особое зрение: «...опыт моей жизни, несомненно, показал, что для того, чтобы понять, как это и где это “Бог пребывает на небе; там-де и царство небесное, там и души праведных”, чтобы понять это, надо Бога в сердце своё сначала заполучить. Или, что одно и то же, надо царство небесное внутрь себя стяжать. Тогда всё будет ясно. Особливые очи внутренние у человека явятся: сознание мироощущение новое родится... Тот, “через Которого все начало быть”, Радетель нашего счастья, велит эти “очи чистые” непременно стяжать» (413).

Борис Шергин призывает нас к святости, к преображению во Христе, к претворению быта в бытие. В подлинном бытии пребывают святые. У Шергина абсолютно живое восприятие святых, они для него не просто герои житий, данных как образец для воспитания и подражания, а как реально участвующие в жизни мира здесь и сейчас, они современники, «вечные современники»: «Завтра память преподобного Савватия... Преподобные отцы Сергей, Кирилл, Савватий и Зосима жили в XIV и XV веках. Мы живём в иные времена. Но это не значит, что иное время – “иные песни”. Нет! Правда, святость, красота вечны, неизменны. Мы проходим, а великие носители святости и красоты живы, как живы звёзды...» (98). Но не просто «современниками» осознаёт Борис Шергин святых. Если они «современники», то и сам ты их «современник», а значит, и участник их святых подвигов. Необходимо быть достойным такого причастия, и, более того, надо быть и, хотя бы маленькой толикой, соратником и продолжателем их дела: «Благословенна эпоха, благословенны времена, в которых жили чудотворцы Сергей, Кирилл, Савватий, Зосима... Они наша слава, они наша гордость, упование и утверждение. Я-то маленький, ничтожный, жалкий последыш против тех святых. Но я наследник оных благодатных эпох. Я хоть сзади, да в том же стаде... Златые уста говорят: “Не можешь быть большой звездой, будь малой, только на том же церковном небе почивай...” Вот так опомнишься на мал-то час, очнёшься, от будней бесконечных упразднишься на мал час хотя и думаешь: вот какое мне царство предлагается, ведь я царству наследник: сыном света, чадом Божьим я могу быть,



вместилищем радости нескончаемой, которую даёт Христос любящим Его. Я в церкви Христовой и она во мне. А этим сокровищем обладание ни с каким богатством земным не сравнишь... Да что же я скулю как собака, что в мире сем обойдён да не взыскан, не пожалован!...» (98).

Подобное же мироощущение мы встречаем у писателя, богослова, философа, литературоведа, искусствоведа, театроведа, педагога С. Н. Дурылина. Размышляя над картиной Нестерова «Видение отроку Варфоломею», он писал: «То, что юный Сергей обретает вокруг себя, есть ТИХОСТЬ БЫТИЯ, умирённый мятеж мира («Мира мятеж, преподобне, оставив», поёт ему Церковь), возвращённый покой твари. Его широко раскрытые глаза видят «миры иные», и не в отдалении, и не в отвлечении от земного, а тут же в этой природе, в её дышащей Хвале Богу, в её светлом лике... Русскому православному подвижнику иной мир открывается как здесь сущий, но, до поры просветления, незримый... Открывается мир чистого бытия через отпадение, силою молитвы и подвига, личины греховного бытия. Град Горний, Великий Китеж, незрим, – но он не вне мира, а тут же, на этих луговинах, у этого озера, и не он незрим, а мы не зрячи: наши глаза выслеплены пеленою греха и бытия: стоит только подвигу и молитве совлечь эти пелены с незрячих глаз – и град незримый делается зримым и открывается для вхождения: он тут же, он и был всегда подле нас»<sup>4</sup>.

Сергей Николаевич Дурылин в своей мемуарной прозе («Москва», «В родном углу», «В зале Консерватории») представил нам удивительный колорит обычной русской жизни конца XIX – начала XX в. По слову одного из исследователей творчества С. Н. Дурылина, «это летопись старого быта, ... хроника праведного, богобоязненного православного бытия на переломе эпох»<sup>5</sup>. В книге «В родном углу» писатель рисует картины своего детства, семьи, дома. Обычная, обыденная жизнь купеческой семьи облечена в духовную опрау, всё пронизано токами веры православной. Если семья – это малая церковь, то сам дом – это храм. Главная, самая большая и самая важная комната в доме – зал; здесь за большим дубовым столом, стоящим посреди комнаты, семья собиралась за дневным и вечерним чаем, несколько раз в год в зале проходили балы, но настоящим Хозяином, как пишет Дурылин, был «большой старинный образ Спаса Нерукотворного в правом углу. Перед томным Ликом горела неугасимая лампада. Здесь, в этом переднем углу, было заветное место всего дома и всей семьи»<sup>6</sup>. Иконам в доме С. Н. Дурылин уделяет много места в своих воспоминаниях, при этом он размышляет вообще об отношении к образам в русских православных семьях того времени: «Самым прочным достоянием православной русской семьи были образа. Когда наступала огненная беда, пожар, из дома прежде всего, часто с опасностью для жизни, стремились

спасти «Божье милосердие» (иконы). Ни при какой имущественной беде, ни при какой степени бедности и разоренья не отдавали в заклад и не продавали икон» (142).

Любовью, нежностью и почитанием окружены образы матери и отца. Перед нами предстают настоящие праведники, для которых праведность – это не что-то исключительное, а норма жизни. «Однажды, – вспоминает Дурылин, – мне, взрослому, пришлось встретиться в одном доме с архимандритом, приехавшим из Иерусалима. Услышав мою фамилию, он спросил меня: «А вы не сынок ли Николая Зиновеевича?», получив утвердительный ответ, он с живостью воскликнул: «А мы поминаем его за каждой литургией». Я удивился: никогда не слышал ни о каких дарах отца на монастыри и храмы Палестины. Приметив моё удивление, архимандрит сказал: «Как же нам не вспоминать Николая Зиновеевича за каждой литургией, если мы служим её за завесой, им пожертвованной, и облачение на престол, и воздух на святые дары – у нас всё от него». Это была обычная, но совершенно тайная жертва отца на церкви – в дальнюю ли Палестину или в какую-нибудь калужскую или архангельскую глушь... Все жертвы его были тайные – иных он не признавал и никаких «честей» себе за них не желал» (151). А в другом месте воспоминаний Сергей Дурылин пишет об отце так: «Он искренно верил в ожидающий всех Суд Божий и был убеждён в том, что избежать сурового приговора на этом суде возможно, только следуя незыблемым законам совести и чести – по мере сил он всю жизнь стремился следовать этому закону. На дела отца и на его помышления не пало тени лицемерия, – из всех молитв ближе всех ему была и лучше всех выражала его душу самая короткая: «Боже, милостив буди мне, грешному!» Я её действительно много раз слышал из уст отца» (168).

Подобными же чертами была наделена и мать Сергея Дурылина. Выйдя замуж за вдовца, отца одиннадцати детей, который был старше её на двадцать лет, она, по слову Сергея Дурылина, не знала покоя и отдыха, жизнь её была сплошной рабочий день, и служение её новой семье было жертвенным подвигом. «Надо было накормить, напоить, обути и одеть дом в тридцать человек детей, родственниц, «молодцов» и прислуги. До этого мама никогда не вела хозяйства, и, однако, впрягшись в хомут отцова домостроительства, она так умно повела дело, так отлично умела быть и министром внутренних дел, и министром продовольствия, и просвещения в отцовском уделе, что никогда не встречала со стороны отца ничего, кроме заслуженной похвалы» (116).

Что же давало силы совсем молодой ещё женщине, Анастасии Васильевне Дурылиной, достойно нести свой жизненный крест? Дурылин пишет: «Мать была глубоко верующий человек, и тут у неё тоже был ум сердца: в её вере не было тех бытовых нагромождений и заносов, которых



обычно у верующих людей бывает так много... Вся красота и мудрость векового обряда сохранилась в её вере... Красное яйцо в её руках было особенно радостно, троицкие цветы – особенно благоуханны, яблоко во второй Спас – особенно сочно... Это был человек с “хлебом мягким” и со “словом ласковым”, как бы ни мало оставалось в мешке муки для этого хлеба и как бы ни трудно из сердца, полного горечи, извлечь это ласковое слово» (100).

Словесный дар Дурылин получил от матери. Художник Нестеров, с которым он был дружен, писал, что у Дурылина слог старых мастеров русского слова. Писатель замечает: «Если в этом есть хоть малая доля правды, то ею я обязан матери. Её речь была такова, что у неё можно было учиться русскому языку» (100). Вспоминая о матери, Дурылин отмечает, что «она всегда отличалась особой жалостью к людям бездомным, нищим, беспутным и всегда, где могла, спешила не только “подать” им монету, но и приветить их чем-нибудь потеплее: накормить пирогом, сунуть в руки свёрток с какой-нибудь домашней едой и т. п. ...» (51–52).

Читая страницы воспоминаний Дурылина о родителях, кормилице, няне, звонаре Гедике и других, читатель начинает понимать, что эти люди являют собой жителей Града Невидимого, китежан, граждан Святой Руси, чья повседневная жизнь неразрывна связана с вращением в Царство Небесное. Их смиренная жизнь тихо перерастала в житие. «Они все из Святой Руси, из числа её ... граждан... Тишина России, её незамутнённая ни-

какими эмпирическими волнами всяких политик и экономик, глубина, – питается подспудными, запечатлёнными и лишь иногда ярко и пламенно прорывающимися на поверхность ключами веры, водами православия. Тут, – только в этом аспекте своём, – при признании тайны существования и действия этих ключей – Россия и является Святой Русью, её грубое, широкое, некрасивое лицо является прекрасным ликом. В шуме истории Святой Руси нет, она – в её тишине...»<sup>7</sup>. Гражданами Невидимого Града Китежа – Святой Руси были и сами писатели Борис Шергин и Сергей Дурылин.

#### Примечания

- <sup>1</sup> Шергин Б. Праведное солнце. Дневники разных лет. СПб., 2009. С. 135. Далее цитаты даны по этому изданию с указанием страниц в скобках.
- <sup>2</sup> Преп. Иустин (Попович). Философские пропасти. М., 2004. С. 105.
- <sup>3</sup> Цит. по: Клеман О. Отблески света. Православное богословие красоты. М., 2004. С. 76.
- <sup>4</sup> Дурылин С. Заметки о Нестерове (Впечатления, размышления, домыслы) // Дурылин С. Статьи и исследования 1900–1920 годов. М., 2014. С. 628.
- <sup>5</sup> Галкин А. Москва и москвичи, или Русский Марсель Пруст // Дурылин С. Собр. соч. : в 3 т. М., 2014. Т. 1. С. 456.
- <sup>6</sup> Дурылин С. В родном углу // Там же. С. 60. Далее цитаты С. Дурылина даны по этому изданию с указанием страниц в скобках.
- <sup>7</sup> Дурылин С. Заметки о Нестерове ... С. 657–659.

#### Образец для цитирования:

Кекова С. В., Измайлов Р. Р. Одухотворение повседневности: быт и бытие в дневниках Б. Шергина и мемуарной прозе С. Дурылина // Изв. Саратов. ун-та. Нов. сер. Сер. Филология. Журналистика. 2019. Т. 19, вып. 1. С. 73–77. DOI: <https://doi.org/10.18500/1817-7115-2019-19-1-73-77>

#### Cite this article as:

Kekova S. V., Izmailov R. R. The Spiritualization of Everyday Life: Way of Life and Existence in the Diaries of B. Shergin and Memoir Prose of S. Durylin. *Izv. Saratov Univ. (N. S.), Ser. Philology. Journalism*, 2019, vol. 19, iss. 1, pp. 73–77 (in Russian). DOI: <https://doi.org/10.18500/1817-7115-2019-19-1-73-77>